

Мария Полянская



Сон городского воробья

Мария Полянская

Сон городского воробья

«ЛитРес: Самиздат»

2001

Полянская М. В.

Сон городского воробья / М. В. Полянская — «ЛитРес: Самиздат», 2001

Русская девушка нелегально эмигрирует в Нидерланды и поселяется в Амстердаме. В городе ее ждут встречи с удивительными людьми и невероятные приключения. Все это выливается в откровенную книгу-дневник, буквально взрывающую общество, после чего девушка таинственным образом исчезает. Некоторое время спустя другая девушка, местная провинциалка, пускается по ее следу и находит свою судьбу.

Содержание

Сон городского воробья	5
Глава 1. Дневник провинциалки.	6
Глава 1. Дневник автора	7
Глава 1. Роман	11
Глава 2. Дневник провинциалки.	15
Глава 2. Дневник автора.	17
Конец ознакомительного фрагмента.	18

Сон городского воробья

Мы все приходим в этот город по-разному. Кто-то сворачивает с огромной шумной магистрали, следуя указателю "УТ", что означает "выход" или "уход", потом пронизывает зеленые скучные пригороды, переезжает пару подъемных мостов, на вершинах которых трамвайные рельсы безоговорочно уходят в небо, попадает в длительную осаду на каналах и, наконец, выезжает к центральной площади. Кто-то въезжает на длинном серебристом экспрессе под свернутую трубочкой крышу центрального вокзала, словно в огромное ухо вставляют ухвертку, а потом мучается от въедливого запаха гашиша, бомжей и восточной молодежной культуры, пока не выберется на божий свет, пронизывающий ветер с реки и под трамвайный звон не отправится в сторону приличного и неприличного центра города. Кто бы мы ни были, мы проделываем этот путь, чтобы в конце концов понять, что центра не существует, а вместо него имеется река, невысокое небо и заполненные водой каналы, вокруг которых кишит своя жизнь...

(Вступление к ее роману, написано на доподлинно голландском языке)

Глава 1. Дневник провинциалки.

Слово мне.

Пока в моей жизни было три значительных события. Настолько значительных, чтобы о них стоило говорить, я имею в виду. Первое – это когда я родилась. Второе – когда решила уехать из маленького городка на севере, чтобы учиться в Амстердаме в городском университете. И третье – самое главное – когда задумала поселиться в том самом подвале, где жила она, когда так же, как я, только раньше, приехала жить и учиться в этот город. Это потом она станет всеголландской знаменитостью. Это потом журналисты начнут гоняться за каждой вещью, оставленной ей в полном беспамятстве где-либо совершенно случайно. Все это произойдет много позже того времени, которое я представляю себе как период существования крохотной жемчужинки в ракушке на дне мутного моря.

Я уже говорила, что живу в том самом месте. По счастью, оно мало известно ее многочисленным поклонникам и журналистам, поэтому экскурсии и паломничества происходят не чаще одного-двух раз в неделю, и я успеваю привести все в порядок, а заодно и записать впечатления о гостях. Посещения обычно приходятся на субботу, поэтому встаю я рано и тут же отправляюсь подметать гладкие бетонные ступеньки, вычищать загаженную подростками и туристами амстердамскую брусчатку. Потом я поливаю пошловатого вида хозяйские герани на окне первого этажа, затем протираю тускнеющее от интенсивного движения машин подслеповатое окошко подвала, и пью первую чашку кофе из кофеварки, которой пользовалась она. Долго ждать не приходится – в окно начинают стучать первые туристы – какие-нибудь американцы или японцы, которые каждое утро считают нужным обзирать окрестности моего угла в Амстердаме. Потом появляются куда более осведомленные мои соотечественники, которым можно поставить в вину все, что угодно, но только не забывчивость – они очень подробно сверяют описание места с тем, что дано в ее книге, обнюхивают все углы серого бетонного подвала, рассматривают все заботливо сохраненные или приобретенные мною вещи, и лишь после этого задают вопрос – а не известно ли случайно, куда и зачем, а если все-таки неизвестно, то нельзя ли поболтать с тем-то и тем-то, упомянутыми в книге, а когда выясняется, что это по вполне понятным причинам невозможно, они наконец-то уходят. И теперь я могу вздохнуть и выпить вторую чашечку кофе, и развести в обжигающей воде пакетик супа instant, как, по ее собственным словам, часто делала она сама, и закинуть ноги на покатый стол, прямо к подвальному окошечку, и включить утробно урчащий обогреватель. Я думаю.

Я думаю о том, как она здесь впервые появилась, и что привело ее в этот странный город каналов, утренних туманов, собачьего кала под ногами, неряшливых стройных людей, потемневших от дешевого табака баров и вечно звенящих на крутых поворотах трамваев. Что привело к столу и заставило воплотить свое косноязычие в такую же странную, как и ее источник, книгу? У меня много времени, и я все время иду по следу.

Глава 1. Дневник автора

Начало города

Отчетливо помню самую первую мысль, пришедшую в голову при виде чудовищного монстра Центрального вокзала Амстердама, где я почувствовала себя червячком во чреве ужасного огнедышащего дракона. Я подумала, что он совсем не похож на вокзал в моем понимании – когда все куда-то едут. Здесь все просто живут. Живет само здание, бомжи, наркоманы, шальные подростки, негритянки с насильственно выпрямленными волосами, живут оставленные на день или на неделю велосипеды, закованные в ножные кандалы, водительницы трамваев и бородатые контролеры, живут те, кто забежал на минутку купить газету или проглотить отвратительного (как выясняется потом) вкуса мясной крокет.

Я очутилась посреди этой чужой мне жизни под руку с Рудольфом. Он не только ее часть, он мой единственный проводник в этом почти безвоздушном пространстве. Нет воздуха только для меня – я впервые стою на перроне совершенно иной страны и испытываю состояние, близкое к обмороку. Это другая жизнь, это другой мир, другие краски, он кажется плотным и в то же время нереальным, словно резиновый пирог, и единственное, что в нем осязаемо, – костистая рука Рудольфа. Мы едем к нему домой.

Рудольф делает вид, что все это совершенно обычно и привычно ему и мне, но я понимаю, что это не так. Русская незнакомая девочка с корявым языком и дешевыми чемоданами из кожзаменителя, приехавшая в его жизнь, не может вписаться в нее с первого взгляда, думается мне и ему. Ничего, посмотрим, что скажет Труди, она наверняка все уладит.

Руди и Труди – так я и буду их называть. Не знаю, что помешало господу Богу забрать их в один и тот же день, разве что обязанность Труди прокричать всему миру о том, что все делалось во имя, хотя и вопреки их любви, в сухой, протокольно точной книжице под ее истинной фамилией. Тогда я только подумала, как они непохожи друг на друга и на семейную пару.

Труди водружает на нос очки полумесяцем без оправы и предлагает мне принять с дороги душ. Я ошеломленно не возражаю, покорно раздеваюсь и поднимаюсь по крутым ступенькам старинного, узкого, в одну комнату, амстердамского дома, на третий этаж. Там, на лестничном пролете, меня ждет достаточно светлая каморка без дверей, зато с окном на крышу соседа. А вот и он сам – приветливо улыбается, стоя в душе. Приходит его жена и, улыбаясь так же приветливо, начинает мылить ему спину. Я в ужасе отворачиваюсь и с тоской думаю об их сексуальной жизни. Она – медсестра средних лет, он – старик, в прошлом – дирижер крупного оркестра. Даже в ванной комнате он курит сигару и стряхивает пепел куда попало.

А Руди уже ждет меня внизу, и с еще мокрой головой я выхожу на улицу страшного мне города, где Руди плавает легко и свободно, а я застреваю на каждом шагу. Почему-то ему понадобилось показать мне все в самый первый день. Когда, спустя три часа, я без сил падаю в плетеный стул в подвале, я даже не сразу замечаю подборку газетных заметок на покато́м столе. Они посвящены теме нежелательной беременности и риску СПИДа. Там, откуда я родом, про СПИД почти ничего не известно, что же касается нежелательной беременности, то об этом я имею весьма живое представление. Двумя неделями позже, в кафе, Руди, долго и непривычно для себя стесняясь произносимых им слов, начнет мне объяснять, что Труди хотела сказать этими газетными вырезками, и, слава богу, нас разнесет на части от хохота. Бедная Труди вообразила, что я девственница, и ужасный город может сотворить со мной непоправимое. Однако сама она чувствует себя неготовой к разговору, и потому Руди приходится брать огонь на себя. Смутно он припоминает, что со своей дочерью он говорил тоже сам – про менструации и все такое. Попутно выясняется, что мое незнание о СПИДе компенсируется полной осведомленностью в области секса. Руди рад за меня и мою страну.

С этими людьми мне надо было жить и ладить, и я хотела их искренне любить. Я хотела любить всех, кто помогал мне освоиться в новом мире, или просто проявлял сочувствие. Руди и Труди стали для меня Городом и человеком в одном лице. Они, собственно, и были тем материалом, который как нельзя лучше ложился на амстердамскую мелодию, потому что как никто другой завязли в этом городе и его истории. Впрочем, Труди сама напишет об этом книгу, сухим, точным языком бывшей провинциалки, выучившейся на профессионального педагога, призванного в свою очередь, учить других учить, и так далее, напишет после смерти Руди, чтобы скрупулезно запротоколировать, как они поднимали печатное дело после войны, как издавали книги, ставшие раритетами, как встречались с самыми знаменитыми и именитыми современниками, как организовывали партию левых до невозможности зеленых, и еще о многом другом, весьма и весьма примечательном для этой страны и этого города. Представить их жизнь прошедшей где-то в другом месте невозможно, нереально до такой степени, как вообразить себе, что вонючий аромат каналов вдруг явственно проступит на тишайшей водичке над голубым кафелем Манежной речки. Долговязая, нелепая фигура Руди и седой колобок Труди, вот что я вижу, закрывая глаза после тяжелого дня и бесполезной попытки перебить старика Руди. Его винный погреб сделал бы честь любому аристократу, а умению поглощать красное вино можно не только позавидовать, им должно просто восхищаться. Когда через несколько лет произойдет смерть Руди, винный погреб осиротеет без хозяина и знатока, Труди начнет пить и ставить драгоценную жидкость, словно дешевое столовое вино, и никто уже не будет многозначительно болтать его в бокале, склонять голову к одному плечу и рассказывать, как однажды, выпив бутылок 5 вина, литра полтора пива и стакан виски, Руди пришел пересдавать экзамен на право вождения самолета и простодушно ответил утверждением на вопрос о регулярном употреблении алкоголя. После комиссии домой он возвращался на велосипеде, лишенный всех прав до полного протрезвления.

Однако по порядку. Руди и Труди, каждый по-своему, хотели мне добра. Труди видела его в том, чтобы всеми возможными способами убедить меня в справедливости ее общества по отношению ко мне. Справедливость заключалась в том, что я не могла найти работу, не занимая места несчастного безработного голландца, исправно платящего налоги. Труди взялась делать для меня все, не преступая рамок закона, что, впрочем, обрекало всю затею на неудачу с самого начала. Везде, где бы я ни появлялась, уже побывала (или позвонила) Труди, объяснившая что к чему, искренне верящая в существование самоубийц, желающих иметь дело с иммиграционной службой. Между тем мне отчаянно не хотелось возвращаться на родину, где для меня не было подходящей работы и даже дома, где жить. Я валилась на жесткий диван, а Труди все говорила, и говорила, и штурмовала очередных чиновников, и писала письма, и водила меня к своему зубному врачу (не глядя на меня из милосердия, он делал мне зубы за полцены), но в глубине души она была твердо уверена, что если все столпы ее общества стоят правильно, а шестеренки крутятся в нужном направлении, то у меня нет никаких шансов. Формально, да и по существу она была права, но мне было не легче.

Позиция Руди было совершенно иной. Бунтарь, почти что коммунист и уж точно анархист, во всяком случае, в отношении правил дорожного движения, он не верил ни одному обществу, включая то, в котором существовал, поэтому его кредо заключалось в том, что для достижения моей цели хороши все средства, особенно те, которые с блеском обходят закон. С ним мы хитрили и изворачивались, подтасовывали даты, умения и документы, представлялись липовыми родственниками, плели интриги, обманывали Труди (по мелочам, разумеется) и зверски пили вино. Руди водил меня по кабакам, учил различать их по запаху, цвету обстановки и постоянным клиентам. Руди преподавал мне основы матерного голландского языка и поедания сыра. Руди показывал мне тот город, который до сих пор остается тайной за семью печатями для наивных голубоглазых провинциалок и алчных до сенсаций американских туристов. Однако все это было не главное. Главным было то, что Руди был, пожалуй, единственным

человеком, понимающим всю нелепость и отчаянность моего положения. Нелегал без работы и медицинской страховки – это был худший кошмар для нормального здорового голландца, но только не для Руди. Он вспоминал суровые дни Сопротивления, арест, немецкий концлагерь, добродушно подшучивал над Трудю, сумевшей выжить в Равенсбрюке ценой потери 20 кг живого веса и туберкулеза, и компенсировавшей все это с лихвой в Швеции, где ее, заболевшую туберкулезом, лечили единственным доступным методом откармливания до розового поросычьего состояния. На фоне всех этих и других событий мировой и голландской истории, намертво впечатанных в личную жизнь моих благодетелей, мои мелкие неурядицы выглядели жалко и несостоятельно. Руди был уверен, что мы победим. И мы победили. В моей родной стране происходили вещи, столь непонятные внешнему миру, в том числе узкому миру, где я очутилась, что шестеренки дали обратный ход, время остановилось, и мне милостиво разрешили остаться. Я боялась даже спрашивать, как это получилось, когда оторвав в полицейском участке номерок с катастрофическим трехзначным числом и дождавшись участи в компании мычащих и гортанно харкающих иностранцев, наконец-то очутилась в кабинете офицера с таким русским на слух именем Питер и днем рождения, точно совпадавшим с моим, я вдруг увидела штамп в паспорте. Кривая усмешечка офицера по имени Питер – мол, я еще могу сделать так, что тебе не понравится, но вообще-то я хороший парень, но в этот момент я уже задом выползала из кабинета на свежий воздух амстердамского пригорода. Мне дышалось легко и свободно, и я готова была обнять даже хамоватых чернокожих подростков и чистеньких строгих старушек.

Это известие раскололо мою жизнь надвое. В той, далекой, московской ее части осталось все, что было и есть мне дорого – родители, друзья, шаткое положение нищего, но гордого собой гражданина своей страны, бывшие возлюбленные, прекрасное, но чересчур академичное произношение голландского языка, вечные страдания гадкого утенка по своей некрасивой и неславянской внешности, иными словами, то, что привязывало меня незримыми нитями, державшими крепче настоящих пут. И все же это были цепи, которых не хотелось терять. Теперь Рубикон оказался перейден сам по себе, мановением росчерка высокого полицейского чина в запредельном министерстве юстиции. Я была и счастлива, и несчастлива одновременно, потому что с неизбежностью всегда трудно смириться. А она заключалась в том, что у меня больше не было выбора – я была просто обязана остаться, остаться, чтобы навсегда забыть кривую ухмылочку офицера, чтобы утереть нос высокому полицмейстеру, и наконец, чтобы Руди и Трудю было о чем поговорить в редкие минуты их духовного единения.

И тут я подхожу к самому трагическому моменту – ибо это весьма невинное решение послужило не первым, но весьма и весьма увесистым камнем преткновения в их непростых отношениях. Руди радовался как ребенок. И как ребенок не ищет объяснения чуду, так и Руди не доискивался до истинных причин и колесиков моего дела. Иное дело Трудю – для нее, казалось, рухнул мир, столь заботливо сотворенный Господом исключительно для голландцев. Почему-то именно мне с нерусской внешностью и фамилией было суждено упасть яблоком раздора в ее семью. По счастью и по неведению, я просто не понимала длинных разговоров и споров в силу своего несовершенства в языке. Я чувствовала, что по-своему благодарна этим людям, в доме которых я жила, но видела, что чем дальше, тем больше они отдаляются друг от друга, тем меньше их интересует их общее прошлое, и уж тем более мое туманное настоящее. А я искала работу, каждый день названивая из автомата многие десятки звонких гульденов, потому что мне не разрешали пользоваться домашним телефоном, писала и рассылала письма, заливала пустым кипятком супные пакетики сомнительного качества, и все чаще уходила из дома. Однажды, но это уже совсем другая история, я ушла совсем, а когда вернулась, то Руди уже жил в другом доме, за городом, на зеленом лугу около деревни, начисто сожженной немцами во время войны, а Трудю старательно учила языки и сдавала мою комнатку рыжей тол-

стой голландской провинциалке, вероятно, втайне напоминающей ей саму себя незапамятное количество лет назад.

Но у этой истории оказался совсем другой, печальный и возвышенный конец.

Глава 1. Роман

Ангелы и люди

Мы с Труды уже давно не разговариваем о том, что произошло. Мы просто часто встречаемся на втором этаже ее дома в самом центре узких улочек и пьем вино из его бутылок. Бутылки это все, что от него осталось. Бутылки он завещал своей жене, хотя с горечью признавался мне, что она ни черта ни смыслит в хорошем красном вине, и что поить ее дорогим напитком все равно, что предлагать его корове. Это звучало обидно, но было чистой правдой.

Я тоже ничего не понимала в этой темно-красной терпкой жидкости, но терпела ее, как я терпела присутствие Труды. Собственно, Труды я терпела из-за Руди, а когда последнего не стало, у меня ни осталось ни одной причины терпеть этот божий одуванчик, но, тем не менее, я упорно ходила на второй этаж и пила вино. Печенье и сыр Труды держала под строгим контролем, да я и не настаивала. Мы просто пили вино и смотрели старый черно-белый телевизор, каких уж нет нигде, даже в богом забытой России.

Мы пили вино, пока Руди умирал. Нет, он еще не лежал на больничной койке под капельницей, с дыркой в животе и дорогостоящим прибором искусственного обмена веществ, он еще был полон жизни и энергии движения, и ездил в красном фургончике-опеле по издателям и виноторговцам, и еще жив был старый плешивый пудель Феникс, ездивший вместе с ним, но у нас уже было чувство надвигающейся катастрофы.

Дело было в том, что Руди больше не мог есть. Как будто господь бог вдруг решил создать человеческого индивидуума, не нуждающегося в брэнной пище человеческой, способного жить вечно, работать и быть неизменно приятным человеком во всех отношениях. Другими словами, то была попытка сотворить ангела во плоти. Надо сказать, что лучшего материала можно было бы и не искать. Руди был великолепный человеческий экземпляр с душой ребенка и телом постаревшего викинга. Однако для воплощения господнего плана у Руди имелся крупный недостаток – он слишком любил жизнь в ее живых проявлениях – Руди великолепно готовил, как никто другой, и как никто другой, умел ценить и пить вино. Если бы господь бог не намеревался послать срочное предупреждение всему нашему испорченному миру, он, возможно, избрал бы иное место, иной способ и иного Иова, но было очевидно, что на этот раз он сильно торопился.

Итак, Руди не мог есть, но по-прежнему мог готовить прекрасную пищу богов, угощать всех друзей вином и радоваться той оставшейся половине жизни, к которой относятся общение с людьми и женщинами. Сначала божий промысел был нам совершенно неведом. Мы шутили, называли Руди ангелом, сошедшим на землю именно в этом прелестном, почти не тронутым заботливой голландской цивилизацией уголке Европы, но постепенно шутки умолкли, потому что легкость и бестелесность бытия Руди становилась обременительной для всех окружающих. Нет, дело было не только в том, что Руди не уничтожал то, что было послано земле свыше, не только в том, что он не нуждался в каждодневном добывании хлеба насущного, нет, скорее все крылось в той бесплотной форме существования, которую Руди обрел благодаря отказу от земной пищи. Казалось, он подобно Будде перешел в иную ипостась и черпает энергию из источников, недоступных всем смертным. Глядя на то, как он день за днем не испытывает потребности в пище, продолжая оставаться все тем же живым, полным сил и ума человеком, любой из нас испытывал сначала легкую зависть, переходящую постепенно в благоговейное чувство ужаса перед нечеловеческим человеком. Я ловила себя на мысли, что мне стыдно есть и пить в присутствии Руди, не говоря уже о том, что при нем совершенно невозможно было бы отправлять свои естественные надобности.

Это была еще одна удивительная способность Руди – он перестал нуждаться не только в питании, но и в избавлении от лишнего в своем неземном организме. Не знаю, был ли в том промысел божий, но так уж получилось, что при строительстве дома Руди выделил туалетной комнате не самое традиционное место. Посреди огромной гостиной, разделяя пространство кухни и зоны отдыха, была возведена круглая капсула из непрозрачных блоков стекла, с полукруглой дверью-перегородкой. Любой желающий войти в нее, таким образом, оказывался у всех на виду, что, впрочем, избавляло от необходимости в голландской прямолинейности – пойду-ка я облегчу мочевого пузырь или что-то в этом роде, однако и сам процесс никак не располагал к приватности. Прямо над капсулой имелась мощная вытяжка, блоки скрадывали звуки, но поход в туалетную комнату был тем не менее предан публичности. Руди стал единственным человеком, не входящим в капсулу, и те, кто посещал его, не могли не думать об этом, проходя мимо хозяина в кухню, но вдруг совершенно нелогично сворачивая на полном ходу, боком протискиваясь в капсулу, стараясь замаскировать то, что было очевиднее явного. Руди улыбался далекой улыбкой смущенному гостю, остальные делали вид, что им это тоже не нужно. В один из вечеров, когда все были увлечены беседой, мне впервые открылся страшное значение божьего замысла. В тот день мы угощались свежеприготовленными мидиями, запивая их вином и летним солнцем. Через три часа я пожалела о том, что не живу в туалете Центрального вокзала. Это было мучительно вдвойне – прекрасная еда, приготовленная одним из лучших поваров-любителей, великолепные морские продукты из дорогого магазина, высоколбые долгоногие гости, и я, вынужденная изрыгать из себя их рафинированное общество. Чем короче становились промежутки между приступами дурноты, тем меньше стыда во мне оставалось. Чем громче кричал мой желудок, тем меньше во мне было наносной цивилизации и тем больше проступала суть существа из плоти и крови, вынужденного есть и изрыгать. В конце концов я уже не могла ходить и пристроилась слушать беседу из туалетной капсулы. Гости старательно делали вид, что ничего не происходит, и ни один из них не спросил, как я себя чувствую. Руди приготовил мне раствор марганцовки только тогда, когда все пошли в сад. Я поняла тогда две очень важные вещи – что Руди больше не дано ощутить, что значит быть человеком плоти и крови, и что эта бестелесность причиняет его гостям мучительную боль зависти к тому, что недоступно. Они стремятся отрицать свою телесность тем, что упорно не замечают рядом корчащееся в муках плоти существо, как будто оно не принадлежит их роду. Они хотели бы быть тем, что есть Руди, а не я, и поэтому они не хотят показывать свою телесность и ее родство с моей грубой формой жизни. Как только я нарушила видимость общей с Руди бестелесности, я просто перестала существовать для гостей. Но тогда же мне открылось то, что станет явным для всех остальных много позднее – это было только самое начало божьего промысла. Став бестелесным, то есть утратив систему пищеварения и выделения, Руди должен был постепенно утратить все, что роднило бы его с людьми – чувство боли, наслаждения и в конце концов страха перед неизбежным. Все это означает только одно – смерть в человеческом понимании этого слова, или полное превращение в ангела небесного.

Надо сказать, что так и произошло – в скором времени Руди перестал испытывать физическую боль, и его лечили в специальной клинике боли, пытаясь зайти так далеко, как только можно, в истязании человека. Потеряв способность к физической чувствительности, Руди освободился духовно, лицо его разгладилось, и морщины стали излучать промытый свет ровного, лишнего пристрастия отношения к миру. Этого нельзя было не видеть, это более невозможно было игнорировать, тем более, что самому Руди эти изменения явно были по душе. Кажалось, он был заодно с божьим промыслом, или хотя бы видел, куда его ведут на заклание.

И тут Труди впервые сказала то, что вертелось у всех на языке. Она сказала, что Руди болен, и его нужно лечить, вот что она сказала во всеуслышание. Она сказала, что нельзя сидеть сложа руки, надо что-то делать. Она начала связываться с врачами по всему миру, она вела конференцию в Интернете, она срочно штудировала медицинские книги, она возила к Руди

толпы специалистов. Можно сказать, что она делала пиар превращению Руди в ангела, сама того не понимая. Руди был настолько умен и бестелесен, что не мешал ей осуществлять то, что, по-видимому, тоже входило в общий замысел. Мне было искренне жаль Труды – ведь ей пришлось быть женой человека, превращающегося в ангела, или человека, покидающего ее мир, что по сути было одно и то же. Каждодневная необременительная для него самого, постепенно нарастающая бестелесность и ангелоподобность Руди была не только непонятна Труды, она ощущала ее враждебность человеческой сути, она сводила на нет физические усилия Труды по поддержанию тела в форме, по питанию здоровой пищей, по активной работе в кругу голландских левых и зеленых, она, наконец, противоречила самой природе, которую Труды всесторонне изучала всю свою жизнь. Надо сказать, что в прошлом у Труды тоже был некий период бестелесности, когда она была заключенной лагеря Равенсбрюк и потеряла 20 кг живого веса. Но потом жизнь вернула Труды в мир людей из плоти и крови, когда добрые шведы откормили ее, спасая тем самым от смертельного туберкулеза. Поэтому Труды свято верила, что человек должен питаться, чтобы жить, и правильно питаться, чтобы жить правильно. Руди, не употребляющий пищи, Руди, не выделяющий ничего во внешнюю среду, Руди, не испытывающий привычной боли, Руди, не имеющий страха перед физическим концом, был ей чужд уже потому, что не желал лечиться, то есть принимать естественную для всех форму бытия. Труды подняла на ноги весь лечебный мир, чтобы выяснить, что феномену Руди, как его назвали много позже, нет аналогов. Естественно, что ее пылкий ум такое объяснение не могло ни удовлетворить, ни остановить, но это уже не имело значения.

Тем временем, шестеренки все вертелись и вертелись, а Руди все продолжал и продолжал умирать. Я могла видеть далеко идущую последовательность в том, как он терял все, роднящее его с людьми. Вслед за почками отказала его печень, потом он настолько перестал чувствовать ноги и руки, что уже не мог передвигаться самостоятельно. Он лежал в самом шикарном госпитале послевоенной Европы, в дорогой палате, буквально прошитый насквозь никому не известными приборами и датчиками, напичканный новыми, так и не допущенными к массовому производству препаратами, и умирал. Я держала его костистую, теплую тяжелую руку в ладонях, и не могла не видеть того, что с ним происходит. Он был счастлив собой и миром. Он с улыбкой дарил мне чрезвычайно нужные советы, он диктовал мне правильные с точки зрения политики и грамматики письма в вышестоящие инстанции, он был моим адвокатом в деле с недобросовестными нанимателями, он учил меня, как правильно пресекать попытки сексуальных домогательств, он был мне отцом и дедом, и в то же время его уже не было. Он заботился о здоровье Труды, он взял с нее слово, что плешивый Феникс умрет своей смертью, он помогал детям заниматься бизнесом, внукам – получать первоклассное образование, друзьям – наслаждаться жизнью в его владениях на юге Франции, а врачам – изучать неизвестное науке явление. И во всем этом не было доброты в обычном понимании этого слова. Руди просто делал то, что было нужно в данный момент его земного существования. Он шел к концу, он распадался, и в то же время он становился все животворительнее в том, что он совершал. Многие после его смерти с благодарностью вспоминали, сколько он сделал для них именно в то, тяжелое с их точки зрения, время. Тогда он уже очень исхудал – видимо, пришло время сократить его телесность до минимума, чтобы она могла безболезненно перейти в иную форму существования материи и духа, но по-прежнему его морщины светились тем удивительным сиянием мира и покоя, которые многие из нас хотели бы обрести, не желая, впрочем, платить такую дорогую цену.

Но Труды не хотела этого видеть. Она обвиняла врачей в равнодушии и бессилии, Руди – в пораженчестве и безынициативности, себя – в невнимательности и беспечности, а меня – в наглости и беззастенчивом использовании умирающего разума Руди. Она не могла простить мне того, что я увидела раньше нее, того, что я приняла превращение таким, каким его промыслил господь, и того, что именно меня Руди избрал тем сосудом, который был достоин

наполниться его духом. Руди вел со мной долгие беседы ни о чем, с точки зрения Труды, Руди учил меня тому, что по мнению Труды, преступало рамки закона, Руди не скрывал передо мной того, что на взгляд Труды, нельзя было показывать посторонним чужим людям. Труды ненавидела меня за то, что я боготворила в Руди его смерть, в то время как она держалась за его жизнь. В конечном счете Труды досталась именно она, со скрупулезностью прирожденного учителя описанная в ее книге, но только до того момента, когда – по ее словам – его поразила чудовищная и неизвестная науке болезнь.

Мы пьем вино и молча смотрим телевизор. Нам не о чем говорить не потому, что мы любим или ненавидим друг друга или то, общее, что у нас осталось. Просто мы с Труды не существуем в одном пространстве и времени. Труды принадлежит жизнь Руди, его мучительное существование на больничной койке, его кома, его агония, его кремация, главы из книги, посвященные ему и их общему прошлому, его дети и внуки, его дома, винные погреба и могилка пуделя Феникса в саду. Труды принадлежит право сдавать мне в аренду подвальную комнатку, учить меня быть законопослушным гражданином и не болеть СПИДом, но не более того. Мне принадлежит нечто совсем другое, то, что невозможно описать словами. Я не присутствовала на кремации того, что осталось от тела Руди, но мне говорили, что это была нетелесная плоть, и я не сомневаюсь в том, что он стал ангелом по собственному желанию, а я была тем единственным человеком, который постиг промысел божий и Руди. Вполне возможно, что это произошло благодаря моему ужасному на тот момент знанию голландского языка, на котором изъяснялись все окружающие, Руди и сам господь бог.

И все же я не склонна ненавидеть Труды, а она меня. В жизни ангелы и люди должны уживаться, как уживались Руди и Труды, пока не окончилось земное существование одного из них. Ангелы и люди могут не понимать друг друга, я даже допускаю, что сами ангелы временами не понимают сами себя, как не понимают люди, но всем суждено жить в одном и том же мире, писать друг о друге одни и те же книги, чтобы затем читать друг о друге одно и то же, и так без конца, без конца, без конца.

Глава 2. Дневник провинциалки.

Я одинока

Я часто думаю о том, как одиночество роднит совершенно разных людей. Я уверена, что неодиноких людей просто не существует, хотя всякий одинок по-своему. Я родом из маленького уютного городка на севере страны, где всем известно все про всех. На нашей улице соседи часто ходят на чашечку кофе друг к другу, вместе играют во французскую игру с мячом и устраивают праздники по поводу и без. Хуже всего то одиночество, которое испытываешь на таком празднике. Огромный тент накрывает площадь, мясники и пекари торгуют своей стряпней, дети участвуют в конкурсах, взрослые старательно делают вид, что они тоже участвуют в конкурсах и им ужасно интересно, но в их глазах я читаю нечто другое – им хочется того единения, которые испытывают дети, но которое абсолютно недоступно им самим. Дети бывают сами собой всегда, ведь им не нужно быть кем-то. Они носятся до упаду, они меняют друзей, они придумывают сказки, которыми живут. С взрослыми все не так – им приходится и быть, и казаться одновременно. Но ведь нельзя быть и казаться все время, иногда хочется остановиться и сказать: ах, оставьте же меня все в покое.

Когда я уезжала из нашего городка, я с радостью думала о том, как хорошо и одиноко мне будет в Амстердаме. И я не ошиблась. Этот город – самое замечательное одинокое место в мире. Это парадиз одиночества. Никому нет дела ни до чего. Ты можешь выглядеть так, как выглядишь, и жить так, как живешь, и говорить то, что говоришь, и никто не обернется. И в то же самое время, если ты хочешь, чтобы тебя услышали, просто сделай так, чтобы это произошло. Просто будь тем, что ты хочешь сказать.

Никогда не думала, что это на самом деле так трудно. Я живу в этом городе уже давно, но до сих пор мне не удается крикнуть то и так громко, чтобы меня услышали. Я каждый день хожу в кафе, где до ночи спорят интеллектуалы, я выступаю на семинарах в университете, я пишу заметки в женские журналы, я знакоюсь с хорошими и известными людьми, которые в свою очередь знакомят меня с новыми людьми, кафе и журналами, но все это тонет в громаде города. Мой голосок еще слишком тонок, чтобы быть услышанным.

А ведь я могла бы быть счастлива этим хотя бы потому, что мне дозволено делать и говорить все, что я только захочу. Городу все равно, что я пишу о нем и его обитателях в этом дневнике провинциалки. Город плевать хотел на то, что я думаю о его замусоленной архитектуре, о его зашоренных обитателях, о его вонючих каналах, о его дешевых женщинах, о его неблагоустроенных углах. Город счастлив сам собой, а я счастлива тем, что могу ляпнуть какой угодно краской на стену, и никто не схватит меня за плечо и не остановит занесенную для удара руку.

Я думала, что все будет иначе, но и дома никому не интересно, что я думаю. Когда я приезжаю в родной город, все ждут от меня, что я стала настоящей наглой городской воробьихой, хотя на самом деле ничего не изменилось, и я по-прежнему сельская птичка из провинциальной клеточки. Мне не все равно, что думают про меня на трех с половиной улицах родного городка, но совершенно наплевать, что обо мне скажу в центральной газете «Пароль». Разве я могу рассказать нашим горожанам, что это именно я участвовала в знаменитой акции осквернения одного всем им известного мирового шедевра, что это именно я голой плавала в городском канале, пока меня силком не вытащили оттуда полицейские, что это именно я объявила по радио, что не хочу работать и платить налоги этому государству в знак протеста против уже не помню чего. Они не поймут меня, и моя семья с жалостью будет думать, что я сумасшедшая, и говорить об этом на каждом углу, и в конце концов обо всем напишут в городской газете, и я стану местной знаменитостью, а мне этого совсем не нужно. Я не хочу

лишаться права быть одинокой нигде – ни в своем родном городке, ни в том большом городе, где живу я и где жила она. У нее тоже было одиночество – одиночество иностранки чужой нации и расы, чужестранки со слишком литературным языком и неудобоваримой фамилией. Сделала ли она то, что сделала, ради преодоления одиночества и чужестранства, или все было наоборот, именно они помогли ей совершить задуманное?

Глава 2. Дневник автора.

Шестерни и молот.

Когда я немного освоилась в пространстве города, в котором жила, Руди решил, что мне пора в самостоятельное плавание. Мы сидели с ним в его любимом кафе на канале, он пил пиво по причине раннего утра, я кока-колу за неимением денег на лучшее, мы смотрели на бурую грязную воду, и тут Руди сказал, что теперь я должна сама найти то, на чем стоит жизнь этого города, потому что без этого я не смогу существовать в нем ни минуты без посторонней помощи. Руди сказал, что для этого мне нужно выучить город наизусть, прочитать все его неприличные надписи, раскопать все блошинные рынки, обнюхать все коричневые бары, просидеть штаны на всех площадях, проштудировать все древние книги, познакомиться со всеми стоящими людьми и выпить все пиво местного разлива. Я ужаснулась, но, по словам Руди, у меня просто не было иного выхода. Представь себе, говорил он, мне этот город тоже сидит где-то на уровне горла, но ведь и я тоже приехал сюда тем, кем уже не буду никогда, и Труди, нам всем пришлось пройти через это, потому что мы хотели, мы очень хотели остаться здесь, мы хотели войти в него, и у нас тоже были свои учителя, как мы есть у тебя. Вот, например, тетушка Труди, которая весит, словно хорошая голландская корова, и живет в самом центре квартала Иордан, не путай его только с рекой Иордан на твоей исторической родине, и давно уже не выходит на улицу, а все сидит и вяжет, весь дом завален вязанием, и я думаю, что дай ей волю, она бы обвязала весь город, но опять же слава богу, она давно не выходит на улицу. Тетушка Труди знает все, что ей нужно знать, и говорит так, что ее поймут только те, кто живут здесь всей плотью. Первый раз я не понял ни слова из того, что она выплюнула изо рта, через год я смог расслышать уже половину, а через десять мы болтали как родные – она на своем, а я – на своем языке. Старушка жива только тем, что много лет дышит этим воздухом, умывается этой водой, и вывези ее из города, она тут же умрет, задохнувшись от кислорода и незамутненного провинциального духа. Мне было достаточно посмотреть на нее, чтобы понять, что я должен делать, если хочу стать частью города, оставаясь при этом самим собой.

Руди был абсолютно прав – мне очень хотелось стать своей, не меняясь и не предавая все то, что было мне так дорого с детства в другой стране, начиная от колыбельных песен и заканчивая «не верь, не бойся, не проси». Но это было невозможно, чужой дух мешал городу войти в меня. Мне надо было выйти навстречу городу без палки и собаки-поводыря, встретиться лицом к лицу и увидеть то, на чем держится эта непонятная мне жизнь.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.